

ГАМЛЕТ РЕВОЛЮЦИИ

О романе Ропшина "То, чего не было", который теперь нрзб , писали все время, пока он печатался, но все это были собственно партийные споры; окончен роман - и кончились споры, - может быть, даже не все прочли его. Как будто нам дела до живой человечекой души! как будто слова писателя - лишь повод для деловых разговоров! Или так уж размножились литературные явления, что и не сочтешь, и не уследишь, и не успеешь даже прочесть как следует? А между тем Ропшин рассказал о событиях, слишком близких, еще слишком трепетных, и, главное не просто рассказал, а наполнил события вопросами - не только сегодняшними, но и вечными. Или они нас больше не трогают? мы все решили - и больше не о чем думать?

"То, чего не было" томит и мучит. Не так, как вслед за Достоевским, томят и мучат не только идеино, но и художественно, - и Мережковский, и Андреев, и Сологуб, и Ремизов. Все они, в разной мере, дарования художественные. Ропшин если и будет когда-нибудь настоящим художником, то <нрзб.> в его манере, простой и благородной, нет ни силы изобразительной, ни силы языка. Его "рассказ" бледен и однообразен. То большое впечатление, которое роман, несмотря на все это, производит, называется влиянием самой личности писателя, искренне взволнованной, вообще - искренней, влиянием лично переживаемых им чувств и размышлений, но не даром повествовательных, изобразительных. Поэтому и речь о том, кому он следует в своих приемах – Достоевскому ли в первой своей повести, Толстому ли в последнем романе (на что слишком охотно обратила внимание критика) - бесполезна: и Достоевский, и Толстой - школы равно превосходные, и нет разницы, в которой из них Ропшин вырабатывает свою манеру, если ему суждено будет ее выработать. Пока он <нрзб.>, как публицист, как моралист, как искатель, как автор необыкновенных по содержательности "дневников", "человеческих документов". так что, если я говорю, что он мучит, это относится к смыслу того, о чем он говорит, а не к тому, как он говорит. Он рассказывает, потому что он размышляет, а размышляет он все время, не переставая, весь обусловленный своей душевной тревогой - в духе и Достоевского, и Толстого. - Можно или нельзя? Что можно и чего нельзя? В каком случае и при каких условиях можно и при каких нет? Все ли дозволено? цель оправдывает ли средства? или нет? во имя чего? зачем? быть или не быть? И все эти вопросы связаны с революционной практикой и к ней приурочены.

Роман начинается размышлениями, наполнен ими, насыщен и ими кончается, и весь протекает безостановочно, в стремлении не удовлетвориться только вопросами, но и дождаться на них ответов. Одна из начальных глав заключается словами: "где же правда?... где же, наконец, правда?", и последние слова романа те же: ""...вера в вечную правду". Размышляет не один Андрей Болотов, главный герой роман, - принимающий в революции первое участие и первый сомневающийся во всех ее путях и смыслах; размышляет даже Володя Глебов, выражатель революционного инстинкта, - прямого, непосредственного действия; размышляет Рувим Эпштейн, теоретик

всесокрушающего террора и идейной провокации; размышляет наивный и стойкий рабочий В, простудущий Сережа, - размышляют у костра, на московских баррикадах, наедине и вдвоем, в пленарных и непленарных заседаниях комитета, над чертежами, рисующими завтрашнюю отчаянную экспроприацию, на груди любовницы, в разговоре с сыщиком в грязном трактире; но больше всего размышляет сам автор, - за спиной всех своих героев, во всех случаях, - и когда они рефлексируют, и когда действуют. Сплошной тревогой совести проникнут весь роман; он, конечно, для того и написан, чтобы ее передать читателю. Она вызвана той душой революции, которая заключается не в одном только порыве к действию, во что бы то ни стало, напротив, против всякого врага движения и свободы, но - и во всей полноте тех ощущений, из которых эта душа рождается. Это - полнота любви, не просто разгорающейся - и судящей себя, отвечающей за свою правду перед собой и другими. Поэтому роман, несмотря на его художественные недостижения, и мучителен, и увлекателен.

Андрей Болотов – это сама революционная совесть, как Володя Глебов – это сам революционный порыв как таковой. Развейте муки этой совести до крайнего их предела, и не кончается ли в нем малейшая возможность действия? Примите второй в чистом виде - и не превращается ли "черный витязь" Володя, как его называет влюбленная Ольга, в разбойника "Муху", шутя убивающего всех тех, кто "одним миром мазан"? Но и Володя начинает размышлять, и он мучится, подобно Болотову: они оба не понимают, по мнению автора, одного и того же, как и все остальные; и оба смутно угадывают то же самое, и оба поступают праведно, производя террористические акты - против всех своих сомнений.

Сам автор твердо уверен в их непонимании какой-то "правды"; но в том, о чем они смутно догадываются, уверен очень неуверенно, а поступки их, несмотря ни на что, оправдывает. И над всем этим и бьется, и к этой тревоге зовет читателя.

Первый вопрос, решаемый Ропшиным и его героями, в особенности Андреем Болотовым, истинным Гамлетом революции, как и автор, выражается в том, чьей силой совершается всякое народное движение, направленное к освобождению, - силой сознательных лиц или силой народной стихии самой по себе? Второй: можно ли во имя его убивать? - допустим ли террор? Третий: имеет ли право беречь свою жизнь тот, кто допускает террор, или, напротив, обязан сам умереть? Эти три основных вопроса, все остальные к ним присоединяются. На первый из них автор дает настойчивый ответ, настойчивый, потому что он думает, что его герои находятся в заблуждении, и он, стоя за их спиной, внушает им, что они заблуждаются, считая себя руководителями движения, что всякая революция совершается самим народом, стихийно, и даже не вопреки, а помимо воли отдельных лиц; а отдельные лица попадают, втягиваются в эту стихию, иногда наперекор их собственной воле, а иногда в согласии с ней. Это, по-видимому, толстовская тема, из "Войны и мира", и критик "Заветов" в том номере журнала, где роман был закончен, отметил ее как тенденцию романа и тем сблизил его по духу с

Толстым. И на самом деле Ропшин как будто верит в нее, потому что очень настойчиво внушает эту "философию истории" своим героям и читателям. Предположим, что, действительно, верит... Но ведь если - да, то второй его вопрос - оправе убивать - принимает совершенно другой оборот в зависимости от такого ответа на первый. А именно: раз движение определяется народом в его неудержимой стихии, а не силой отдельных лиц, то и право убивать, право на террор становится вопросом не о праве лица (что, однако, и разумелось в постановке вопроса!), но о праве народной стихии, и тем самым, как задача совести, уничтожается, так как о том, все ли позволено или не все? - может спросить себя личная совесть; но что значит такое обращение к народной стихии? Вообще, что значит какой бы то ни было вопрос при условии, что он обращен не к лицу, а к стихии, в неудержимое течение которой властительно захватываются единичные сознания и воли?

Однако из всех вопросов, томящих Ропшина, центральный для него не этот первый, а второй, о праве убивать. Первый он даже не считает вопросом, это для него та правда, в которую надо непременно поверить, потому что он - бессознательно или с тайным расчетом – думает, что в этой правде потонут все остальные вопросы... А они не тонут! Он убеждает на протяжении всего романа в том, что революция совершается стихийно - и никто ему не верит, и все вмешиваются по-своему в события и решают "мучительные" вопросы, потому что воистину - та "философия", которой так обрадовался критик "Заветов" и в которой безнадежно убеждает своих героев автор, - и сомнительна и зыбка. - Кто правит народным движением? - когда Л. Толстой спросил об этом самого себя и вызванные им исторические тени, и ответил: не личности, а народная воля, - он этой народной воле давал, несомненно, мистическое значение. Какое единственное самое понятие иметь и могло бы - или субстанциально, как полагали романтики и славянофилы в образе "народной души", - или прямо религиозно, т.е. предполагая за волей народной волю Бога. Толстой был всегда чужд романтизма, не связан со славянофильством, но всегда был религиозен, и, настаивая на народной воле в исторических событиях, видел за ней иного Двигателя: иначе он произносил бы одну из бессодержательных фраз, для Толстого всегда несмыслимых, противных. Высшая воля, совершающая историю, совершает ее в гениальных массовых процессах, растворяющих в себе личную волю; и здесь выразилась не только вообще религиозность, но исконный морализующий пантеизм Толстого. Все остальное следовало отсюда: воля Божия - есть воля добра, она не хочет убийства, и вообще зла и насилия, которые может хотеть лишь хищная воля отдельного лица... В чью же волю верит Ропшин, настаивая, что революция совершается не сознанием отдельных лиц? Или это глухая и, в сущности, темная ссылка на "дремлющую народную мудрость"? или - мечтательная - на "душу народную"? Или же Ропшин религиозен, как Толстой?

В романе есть место, очень важное в развитии событий. Это одно из бесконечных рассуждений Андрея Болотова на одном из его распутий - уже последнем, так как он, наконец, решает, что он не имеет права беречь свою

жизнь, раз он дает согласие на пролитие крови, - он обязан сам пролить свою, и вслед за этим идет умирать за революцию. Вот оно: "Ему стало ясно, что он не только обязан погибнуть, но и не властен, не в силах жить... что эта кровь, которая струилась на баррикадах... требует не скучной, не бережливой, а *вдохновенной и просветленной жертвы*. Ему стало ясно, что, отвечая перед комитетом, перед партией, даже перед *Россией*, он в праве жить... Но если есть высший, неложный суд... если есть *несказанная, молитвенная ответственность*, то он, слуга революции, может и должен отдать народу себя, свою бессмертную жизнь. И как только ему это стало ясно, он почувствовал *благоговейный восторг...* точно он обрел спасительную свободу". Эта формула перелома, совершившегося в душе героя, однако, не столько ослабляется в своем идеологическом смысле, сколько прямо заменяется другой - иного смысла - в заключительных словах романа: "Он (рабочий Ваня) увидел Русь необоримых, распаханных, орошенных потом полей, Русь заводов, фабрик и мастерских, Русь не студентов, не офицеров, не программ, не собраний, не комитетов... а Русь пахарей и жнецов, трудовую, непобедимую, великую Русь... И стало сразу легко... Он понял, что ни министры, ни комитеты не властны изменить ход событий... И он почувствовал, как на дне утомленной души чистым пламенем снова вспыхнула вера, - вера в народ, в дело его освобождения, в обновленный, на любви построенный мир. Вера в вечную правду".

Это прекрасно. Но ведь такая формула *веры* как раз и не удовлетворяла Андрея Болотова, - или он именно Гамлет революции, случайно погибший в ней, после истомивших его интеллигентских колебаний? Последнюю формулу можно принимать или не принимать, но, если не говорить уже о той религиозной настроенности, которая сказалась в первой. Где же Ропшин - тут или там? Вот на какой скрытый вопрос он должен был бы себе ответить, если уже принял умственную пытку: потому что тот ряд недоумений, которые мучат его, суть недоумения, упирающиеся в религиозность, и потому-то Достоевский и Толстой, войдя однажды в круг их, и стали религиозными мыслителями. Для Толстого все покрывалось понятием любвеобильной и призывающей к себе вселенской души, мирной, кроткой, безнасильной; для Достоевского все сводилось к акту свободного отказа личной воли от себя, от своекорыстия и тоже всякого насилия - во имя воли иной - во всечеловеческой любви. Они были последовательны, и эта последовательность на таком мыслительном пути неизбежна. Но Ропшин бьется в двери религии - и боится войти в них. И эта боязнь и возможна, и понятна, если признать, что дверей нет, а есть глухие стены; но тогда надо заранее отказаться от мучительных вопросов. Ропшин, судя по его последнему "дневнику", так и склонен разрешить все свои недоумения, обратясь на путь единственного жизненного и возможный для всех умов нерелигиозных - хотя и религиозный в своем существе. Уже после того, как его, Гамлета, осенила мысль о "несказанной молитвенной ответственности - в высшем неложном суде" - он, не оставляя и после этого своих размышлений, ведет два разговора совести - один с прямолинейным теоретиком чистого действия Розенштерном, другой - с

чистым сердцем Сережей. Первому он говорит: "Только тот делает революцию, только тот поистине творит будущее, кто готов за други своя положить душу свою. Слышите? Душу... Все то, что вы говорите, очень верно, очень благоразумно, но совесть моя не может принять ваших слов. Понимаете - совесть... Надо отдать все, уметь отдать все... Только в смерти - *ценная жертва*". На эти слова чисто религиозного напряжения, да и смысла, Розенштерн отвечает разумным, но чисто казенным: "мы отдаём все"... но Болотову нужна именно *ценная жертва!* И Розенштерн "с досадой" бросает ему упрек в "романтизме", который Болотов и принимает. Через два месяца, уже переодетый для совершения террористического акта извозчиком, он ведет такой разговор с Сережей: "Я не могу не работать в терроре... Не могу умыть руки... Не вправе сказать: делай ты... Кто раз убил, тому нет спасения, нет, должен отдать жизнь". Сережа задумался: "Почему должен?" "Ах, Секрежа, вы спрашиваете... Что же, по вашему, не нужно идти до конца... Что же, не вы говорили: "Не дано занять"? Я и сейчас скажу: не дано знать. Да, я думаю, как и вы... Да, мы лжем, убиваем, следим. Да, это грех. Но ведь вы пытаетесь объяснить, почему убить можно, не только можно, но и должно, необходимо. А я говорю - "не дано знать". Во имя любви нужно жертвовать жизнью, не только жизнью. Но это не оправдание. Ну, а где оправдание?.. Вам будет странно, что я скажу, и вы не сердитесь... как решить, что можно и что нельзя? Как сказать: убей, как убьешь? и как скажешь: нет, не надо бороться, не надо кровь проливать? Почему не надо? во имя чего? и не больший ли это грех? Я думаю, кто верит, тот не возьмется за меч. А кто берется за меч, тот не верит, не может глубоко верить и берется от слабости, не от силы..." - "Боже мой, при чем тут вера? Вера в Бога, конечно?" - недоумевает Болотов. - Да. вера в Бога. - "В христианского Бога. - "В Христа? - Да, в Христа. - Болотов изумленно посмотрел на Сережу: "Слова о Боге. о Христе казались ему такими ветхими и лишенными смысла... так напоминали лицемерные поучения, что он готов был подумать, не пошутил ли Сережа. Но Сережа не улыбался..." и, сидя "среди оплеванных мокрых столов трактира", продолжал: "...Вы не можете не слушать меня, а я говорю - не дано знать. Вы спрашиваете: верю ли я? и в ответ припоминаешь голгофского разбойника: "...так и я говорю - помяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие Твое!..." Когда Болотов после этого разговора, расставшись с Сережей, шел домой, он думал: "Христос... Евангелие... не убий... Какой церковный туман! Но Сережа все-таки прав... Нельзя и надо, да, надо..."

Если слова Сережи - "церковный туман", и в то же время он "все-таки прав", это значит, что ропшинский Гамлет не принимает религиозного мировоззрения, но принимает религиозную мораль, недаром он и сам в своих размышлениях пользуется религиозной терминологией ("молитвенный", "высший суд", "жертва" и даже "бессмертная жизнь"), потому что она только и выражает истинное содержание его недоумений. А при отказе от религиозного сознания все и сводится для него к акту жертвы - жертвы до конца, жертвы собой, "ценной жертвы", - к религиозному акту, обозначаемому специфическим термином, но не признаваемому за религиозный.

И этим признанием акта воли, лишенного своего определения по его смыслу, Ропшин и дает отрицательный ответ на третий из своих вопросов - о праве беречь свою жизнь. И приняв этот ответ, тем самым отвечает утвердительно и на второй - о праве убивать. Так боязливо кружится его не откровенное сознание. Но если вникнуть во внутренний смысл этого кружения, то надо понять и то, что, приняв эти два ответа, он должен уже иначе отвечать на первый из своих вопросов, показавшийся ему даже не вопросом, - то, что ум принял с самого начала за несомненную правду и внушал своим героям с такой настойчивостью, что одному этому нужно было заподозрить, верит ли он в нее сам так непреложно, не убеждает ли самого себя, будто бы революция есть процесс чисто стихийный! Ведь если он "всестаки" согласился с Сережей, то Сережина "правда" заключается в признании силы любви, смиленно отказывающейся от знания истины, но утверждающей необходимость личной жертвы, приносимой любовью; стало быть, эта правда содержит в себе то разумение революции, что она совершается не только стихийно, но и волями отдельных лиц. Если есть сила любви, жертвующей собой, то и народное движение не сводится только к массовой воле. Если я люблю, я принимаю лично участие; если я, любя, отдаю свою жизнь, я совершаю это, не как слепая частица, втянутая в себя слепой стихией. Сила любви - есть сила личной воли, добровольно отдающейся, которая хочет жертвовать собой до конца, до смерти, именно потому, что через край любит, через край переливается, до самозабвения, и в этой любви забывает или может забыть о границе, где грозно колеблются дозволенное и недозволенное, будучи волей беззаветной. И если бы этой силы любви не было, то движения народные были бы бесцельны и дики; стали бы одним страшным напором бессмысленных, только голодных инстинктов. Ссылка на "вечную правду народную" есть ссылка и бессодержательная, и ужасная".

В чем смысл народной жизни, в чем смысл жизни личной, в чем смысл жизни вообще, что дозволено и чего не дозволено, - можно решать, как угодно. Но все "мучительны" вопросы, если они безостановочно хотят дойти до возможного своего мысленного предела, кончаются или религиозным сознанием (спокон веков - до Канта, Толстого, Достоевского), или отказом от всезнания ("не дано знать" - тоже очень древнее), отказом, который в существе своем может быть и бессознательно религиозным, и простой душевной добросовестностью для нерелигиозной личной природы; или же, наконец, - и это есть решение не ума, а сердца: все томления смятенной души разрешаются в признании любви, зовущей, все определяющей, все покрывающей. И это так. Любовь, действительно, все покрывает: все недоумения и противоречия, кто ею охвачен, покрывает даже вражду религиозного и нерелигиозного сознания, преображая все соблазны мысли в мудрость сердца. Если она есть, то и все есть. Если бы она "была", то и все "было". Что было не от нее, того и "не было". А в том, что любовь принимала тогда и теперь принимает грозные и даже исступленные уклоны, виноваты, конечно, не те, кто любил и любит... В двери религии Ропшин не достучался. "Не дано знать". - Гамлетам недоступно. Но любовь не была той силой, которая толкнула его героев на борьбу, той

неодолимой "стихией", которую он стал пытать своими вопросами. Других ответов нет. Если не принять ни одного из них, тогда все вопросы, томящие человеческую совесть, соединяются в одном, самом кратком, точном и самом безумном: "Быть или не быть?" - и разрешаются только будническим: "Все остальное молчание"...